

*Н. Г. О. Перейра*

## Впечатления и замечания западного русиста: автобиографический очерк<sup>1</sup>

### Китай, 1942–1950

История моей семьи уходит своими корнями в Россию. По материнской линии я могу проследить свою родословную до трех поколений, то есть до моего прадеда Исаея Ариевича Гуревича, который был одним из немногих еврейских купцов Первой гильдии в Санкт-Петербурге во второй половине XIX в. С родословной по отцовской линии меньше ясности. Я знаю только то, что отец родился в Одессе в 1910 г., его матерью была Сецилия Топперман. По словам моей бабушки, мужем Сецилии был солдат по имени Григорий Островский, который ушел на войну и погиб на фронте. Однако, я не могу быть уверен в этом. Ходили слухи, что настоящим отцом ее сына и дочери Анны был Евгений Раппапорт, зажиточный купец, с которым у Сецилии был продолжительный и не очень тайный роман. После революции 1917 г. Сецилия со своими двумя детьми, как и многие беженцы, эмигрировала (весьма вероятно, при помощи и участии господина Раппапорта) в Харбин. Примерно лет через десять мой отец Вальтер (Владимир Григорьевич) переехал в Шанхай, где на черном рынке купил португальский паспорт с фамилией Перейра, которую я, в свою очередь, передал моей жене Линде и двум нашим детям, Эрике и Джессике.

Мои отец и мать — Этель (Этуся Михайловна), познакомились в Шанхае в 1940 г. Отец был преуспевающим бизнесменом (меховщиком) с репутацией распутника, мать была молодой наивной девушкой, впервые освободившейся от надзора слишком строго опекавших ее родителей. Их отношения стремительно развивались, и они вскоре поженились, несмотря на протесты родителей невесты. Я родился в 1942 г., а мои родители расстались в 1945 г. Вскоре после этого мать забрала меня, и мы уехали в Тяньцзинь к ее родителям, Екатерине Григорьевне (бабушке Кате) и Михаилу Исаевичу Гуревичу (дедушке

**Норман Перейра,**  
*Ph. D. истории,*  
*заслуженный*  
*профессор*  
*в отставке,*  
*Университет*  
*Далхаузи*  
*(Галифакс, Канада)*

Мише). Мать развелась с отцом и вновь вышла замуж. Ее вторым мужем был Арам Папасян (американский армянин, родившийся в Константинополе), который работал представителем в Китае одной международной ковровой компании с штаб-квартирой в Нью-Йорке. После победы коммунистов на материковом Китае в 1949 г., опасаясь последствий революции, Арам организовал наш переезд в США, а также переезд моих бабушки и дедушки в Канаду.

Наиболее ярким воспоминанием моего раннего детства (шести- или семилетнего ребенка в Тяньцзине) являются детские сказки, которые мне рассказывала моя няня Ли Най-Най. Она спала на койке в моей спальне и поэтому всегда была первой, кого я видел утром, и последней, кого я видел вечером. Маленькая (вероятно, не выше 1,5 м и весом около 50 кг), женщина лет тридцати, с черными глазами и прямыми черными волосами, завязанными в узел на затылке, она очень сильно повлияла на мое сознание и развитие. Ли Най-Най относилась к работе очень серьезно. Пытаясь угодить каждой моей прихоти, она в то же время пыталась привить мне традиционные конфуцианские добродетели и дисциплину, а также рассказывала китайские народные поверья.

Каждый день я ждал ее рассказов на ночь, зачастую перемешанных с последними домашними и соседскими сплетнями. Сами рассказы сочетали в себе элементы фильма ужасов, научной фантастики и нравоучений. Она познакомила меня с красочным миром сверхъестественных божеств, который был гораздо более привлекательным, чем принятый в нашей семье привычный иудаизм. Моя семья была типичной для беженских кругов Китая. Мы жили в мире, который состоял из бесконечно повторявшихся пышных званых ужинов и балов, скачек, азартных игр, посещений магазинов и просто мотовства. Все это происходило в то время, когда наша китайская прислуга выживала на нищенскую зарплату и экономила на всем, чтобы помочь своим близким.

Как и другие колонисты (а также состоятельные китайцы), мои родители имели много свободного времени, но были так вовлечены в бурную общественную жизнь, что не могли слишком много времени посвятить своему единственному ребенку. Поэтому я считал и до сих пор считаю, что мне повезло с тем, что мое воспитание находилось в руках Ли Най-Най, а не в руках моей молодой и неопытной матери. Ее глазами я впервые увидел кошмарное неравенство иностранцев и китайцев. Также я не мог понять, почему лишь немногие представители Запада делали попытки выучить китайский язык, несмотря на то, что провели десятилетия в Китае. Ничто не делало меня счастливее, чем моя способность говорить на мандаринском диалекте китайского языка так, как будто это был мой родной язык. Дедушка Миша задавал тон в нашей семье, увлекшись китайской культурой и искусством; он стал заядлым коллекционером и, в конце концов, превратил свое увлечение в бизнес, который распространился на два континента. Некоторые фрагменты его коллекции находятся в моем доме до сих пор.

Мои языковые способности развивались медленно, но зато я начал говорить сразу на четырех языках: китайском, русском, английском и французском. Я помню, как чувствовал, что

имею больше общего с прислугой, чем с моими родителями и друзьями. Я предпочитал есть вместе с ними «еду азиатов»<sup>2</sup>, участвовать в их играх и забавах (в том числе в боях сверчков и в дрессировке голубей) и вообще быть в их компании. Наверное, это будет преувеличением, если я скажу, что именно вследствие этих моих чувств я стал самым молодым западным сторонником Мао Цзэдуна в Тяньцзине, но когда его солдаты в 1949 г. вошли в город, я на короткое время присоединился к ним. Точнее, случилось вот что: Ли Най-Най взяла меня с собой в самый обычный поход на рынок за покупками, когда Народно-Освободительная Армия, выбив остатки деморализованной армии Чан Кай-Ши, триумфально вошла в город. Мы услышали шум и пошли в ту сторону, откуда он доносился. В первом ряду маршировавших войск мы увидели знакомое лицо. Это был «наш лучший парень» Шуй, он нас тоже узнал. К ужасу Ли Най-Най и несмотря на ее протесты, он посадил меня на плечи и вернулся вместе со мной в строй. И так, возбужденно распевая песни и махая приветствовавшим нас людям, мы промаршировали несколько минут. Затем Шуй опустил меня на землю, и Ли Най-Най поскорее увела меня, чтобы не случилось чего-нибудь плохого. Она заставила меня дать обещание ничего не говорить родителям. Они и так были шокированы, когда узнали о той серьезной роли, которую Шуй играл в местном отделении Коммунистической партии.

Помимо моей няни, в детстве сильное влияние на меня оказал дедушка Миша, который после развода родителей и в отсутствие отца стал главной мужской фигурой в моей жизни. Ветеран Белого движения, проигравшего в российской гражданской войне 1918–1921 гг., он был твердым антикоммунистом. Дедушка был одним из немногих евреев, произведенных в офицеры после указа А. Ф. Керенского в мае 1917 г.; был членом конституционно-демократической партии, поклонником британской монархии и Вестминстерской системы. Он считал Октябрьскую революцию катастрофой, а не народным восстанием. Спор об этом еще долгое время после его смерти не будет давать мне покоя, и в каком-то смысле не дает и сейчас.

Вместе с адмиралом А. В. Колчаком и белой армией дедушка Миша с женой (бабушкой Катей) и младшим братом Иосифом отступил в Сибирь, в 1919 г. перешел границу в Маньчжурии и поселился, как и тысячи их товарищей-белогвардейцев, в Харбине. Их жизнь в Харбине уже подробно описана в других работах<sup>3</sup>, поэтому в этом очерке я не буду на этом останавливаться. Мои дедушка и бабушка достаточно долго там прожили, и у них родилась дочь — Этуся, затем они переехали сначала в Пекин, потом в Тяньцзинь. В общем, наша семья прожила в Китае 30 лет, прежде чем снова бежать от коммунистов, на этот раз через Тихий океан.

### Нью-Йорк, 1950–1960

В сентябре 1950 г. мои первые впечатления от общей школы № 59 на Восточной 57-й улице в Нью-Йорке ожидаемо были неприятными. Одетый в шорты, гольфы, ботинки со шнурками, пиджак и галстук, говоривший с колониальным британским акцентом

(приобретенным в Тяньцзине в эмигрантской школе), я был отличной мишенью для травли одноклассниками. Я не почувствовал радушного приема от моего классного руководителя, грозной миссис Фогерти, ирландки неопределенного возраста и цвета волос. Она полностью полагалась на Римско-католический катехизис как высшую истину во всех вопросах, и делала послабления ученикам-протестантам даже реже, чем ученикам-евреям.

Изначально мои одноклассники тоже были не очень расположены к иностранному мальчику в их среде. Я быстро понял, что они больше всего уважают два качества: умение драться и спортивные способности. Я не был ни бойцом, ни атлетом, но очень хотел, чтобы они меня приняли. Великий боксер Джек Демпси говорил где-то, что перед началом каждого поединка ему было страшно, и то же самое я слышал от людей, участвовавших в военных действиях. Похожие переживания я испытывал, когда утром приходил в школьный двор за несколько минут до того, как нам разрешалось входить в школу. Несколько дней подряд я получал удары по телу и самолюбию, пока, доведенный до отчаяния, наконец не начал отбиваться. В лучшем случае такой исход можно назвать моральной победой — другими словами, меня по-прежнему били, но я заработал некоторое уважение и признание от остальных ребят.

Вторым моим шагом к этому было узнать как можно больше о «великом американском времяпрепровождении» — о бейсболе, и особенно о трех местных командах: New York Giants, Brooklyn Dodgers и моих любимых New York Yankees. Благодаря бейсболу и школе, я вошел в «Америку рабочего класса» — в наши дни этот термин практически вышел из обихода. Только я стал ладить с моими одноклассниками, как мать и отчим против моей воли решили отправить меня с сентября 1954 г. (в 8-й класс) в престижную Университетскую школу Collegiate на Западной 77-й улице. Моя мать особенно хотела, чтобы я получил самое лучшее образование, и она смогла, несмотря на огромное расстояние, убедить отстранившегося от нас отца взять на себя выплату немаленькой суммы.

Честно говоря, это была не просто частная школа детей из богатых семей. В ней пытались так набирать учеников, чтобы получился своего рода срез общества. Школа Collegiate считалась самой старой частной школой в Соединенных Штатах, основанной голландской реформаторской церковью в XVII в., и гордилась тем, что предоставляла стипендии успешным ученикам из бедных семей. Тем не менее, в середине 1950-х годов большая часть учеников состояла из двух категорий: дети из привилегированных классических американских семей<sup>4</sup> и дети успешных евреев. Первые были представлены семьей Першингов, вторые — семьей Варбургов. Это было еще до наступления эпохи, когда все стали бы замечать полное отсутствие афроамериканцев. Школа имела спортивные команды, но на них не делалось особого акцента; в футбол играли чаще 6 на 6, чем 11 на 11; а двумя самыми популярными внеучебными занятиями были театральный и дискуссионный клубы.

Впервые в моей жизни я не был представителем состоятельной семьи среди сверстников. Как следствие, я получил представление о социальной иерархии в США и о том, что озна-

чает смотреть на сверстников снизу вверх. Другое следствие, которое вытекает из первого, заключалось в том, что я стеснялся приглашать своих школьных товарищей в нашу квартиру на Восточной 57-й улице, находившейся в непрестижном квартале в центре Манхэттена. Наша квартира была весьма комфортабельной и хорошо обставленной. Но контраст с роскошными домами на Парк Авеню и в верхнем Истсайде, где проживало большинство моих новых одноклассников, был очень сильным.

Лучшее, что я вынес из обучения в школе Collegiate, это мое знакомство с Генри Адамсом, старшим учителем английского языка и литературы, и его манерой преподавания. Мистер Адамс, как мы всегда называли его даже в его отсутствие, был выдающимся педагогом. Он был строг, когда дело касалось правил грамматики или синтаксиса — это наследство, которое он передал мне, а я — моим студентам (должен заметить, что они не всегда этому рады). Ничто в моем образовании не принесло мне большую пользу, чем инструкции мистера Адамса, как правильно читать и писать на английском языке. Он научил меня и сотни других ребят, которым посчастливилось быть его учениками, как построить понятное и краткое предложение. Он отвергал разделение на форму и содержание, считая его искусственным. Как говорил мистер Адамс, «какая цена твоей идее, если ты не можешь ясно и недвусмысленно ее выразить? Читатель не должен разбираться в том, что именно ты хотел сказать».

Образовательный процесс в школе Collegiate повлиял на меня с нескольких сторон. Я стал смотреть на мир более критично и стал интересоваться американской политикой. Нужно помнить, что для США это был период беспрецедентной экспансии и процветания. Единственным соперником Америки на мировой арене был СССР, а он все еще оправился от разрушений Второй мировой войны, а также от ужасных репрессий последних лет сталинского правления. Секретная речь Никиты Хрущева, в совокупности с венгерским восстанием и кризисом на Среднем Востоке, — все это, казалось, указывает на время наивысшего господства Америки за все время ее существования. Грядущие президентские выборы 1956 г., в которых соперниками стали действующий президент Дуайт Эйзенхауер и любимец либералов Адлай Стивенсон, дали мне, четырнадцатилетнему, возможность окунуться в мир политики. Тогда Стивенсон, принципиальный и умный, остроумный и обезоруживающе скромный, казался мне идеальным государственным деятелем. Его полное поражение впервые заставило меня задуматься, что, возможно, с американской политикой не все в порядке.

### **Вильямс Колледж и Беркли, 1960–1970**

Президентские выборы 1956 г. умерили мой энтузиазм, но не рассеяли его полностью. Джон Ф. Кеннеди поразил меня гораздо меньше, чем в свое время Стивенсон — мне казалось, что он слабее как характером, так и интеллектом. Но так как альтернативой ему был

недостойный Ричард М. Никсон, большинство из нас, левой молодежи, считали себя обязанными поддержать кандидата от Демократической партии. Через несколько месяцев стало понятно, что Кеннеди был опасным «воином “холодной войны”», который был готов поставить мир на грань ядерной катастрофы из-за сильно преувеличенной угрозы от советских ракет на Кубе<sup>5</sup>. Кризис был предотвращен, как мне казалось в то время, во многом благодаря сдержанности Н. С. Хрущева, пусть и несколько запоздалой. Тем не менее, улучшилась репутация как раз Кеннеди, в то время как Никита Сергеевич вскоре был отправлен в принудительную отставку.

Выборы 1960 г. проходили во время моего первого семестра в Вильямс Колледже в Западном Массачусетсе. После Университетской школы с ее великолепными и преданными делу учителями, профессорско-преподавательский состав в Вильямсе разочаровывал. Большинство преподавателей по гуманитарным наукам казались равнодушными к своим дисциплинам и далекими от них. Четыре года обучения отнюдь не оказались незабываемыми, за исключением дружбы с моим соседом Фрэнком Лоскалцо и знакомства с некоторыми членами марксистской и анархистской групп нашего университетского городка. Выбрав в колледже своей специализацией историю и непрофилирующим предметом литературу, я не знал, чем буду заниматься после выпуска. Посчитав совет матери поступать в медицинский вуз непривлекательным, как и совет моего деда заняться юриспруденцией, я вместо этого прислушался к совету моей девушки (будущей жены) Линды, и решил заняться русской историей. Она считала, что моя бунтарская личность (не будем считать, что это очень хорошее качество) не подходит для академической жизни.

Я не сразу выбрал Университет Калифорнии в Беркли, но, поскольку Гарвард не разрешил мне сохранить стипендию Вудро Вильсона, решение далось легко. Как оказалось, это была одна из счастливейших неудач в моей жизни. Университет Калифорнии превзошел мои самые оптимистичные ожидания почти во всех возможных смыслах. Масштаб и интенсивность стимулирования мыслительного процесса учащихся — этим Беркли резко отличался от колледжа в положительную сторону. С первого дня в Беркли мы с Линдой чувствовали себя здесь как дома и влюбились в это место. Вставать каждое утро под светлым безоблачным небом, проходить по красочным, немного грязным улицам по пути в университетский городок, выпивать чашку кофе в одном из кафе на Телеграф Авеню — я как будто был частью постоянного праздника. Внутри городка постоянно проходило сразу несколько интересных мероприятий — политические митинги разного рода, выступления музыкантов и других артистов, лекции самых известных и выдающихся мировых ученых и общественных деятелей. Легко можно было забыть, что ты здесь для того, чтобы учиться. Я слышал, что якобы обучение в лучших вузах Восточного побережья было делом неприятным — один современник говорил, что ты как будто являешься частью «сосисочной фабрики». Но в Беркли все было весело и дружелюбно.

Большинство из тех, кто обучался здесь в 1960-е годы, знали, что, скорее всего, это будут лучшие годы их жизни.

В Беркли было и другое существенное преимущество, которое я не сразу осознал, но которое также оказалось очень важным. Главным специалистом по русской истории в Гарварде был Ричард Пайпс, выдающийся ученый, но с заслуженной репутацией человека чрезвычайно заносчивого, с тяжелым характером. В отличие от него, калифорнийское трио — Мартин Малиа, Николай Рязановский и Реджинальд Зельник — были доброжелательными и добродушными. Малиа, католик из Ирландии, был вундеркиндом из Новой Англии и учился в Йеле и Гарварде. Рязановский — русский, православный, сын двух выдающихся профессоров-эмигрантов, имел степени в Гарварде и Оксфорде. Зельник был евреем из Нью-Йорка и стал доктором в Стэнфорде. Я обучался у всех трех: Малиа был моим научным руководителем, а двое других входили в комитет, руководивший моей диссертацией; туда же входил и Симон Карлинский с кафедры славистики. Рязановский, как и его друг и коллега по кафедре славистики Глеб Струве (сын видного российского политика П. Б. Струве), был ходячей энциклопедией. Я никогда не встречал, даже в России, никого, кто бы знал о русской истории столько, сколько знал профессор Рязановский. Зельник, только что защитивший свою Ph. D. диссертацию, был ближе всех ко мне по возрасту. Из этого трио он был более прогрессивным в политическом смысле, и был очень любим своими студентами.

Малиа был выдающимся и харизматичным человеком, что позволяет забыть о его незначительных недостатках, таких как пропуск консультаций и занятий, невозвращение письменных работ студентам в течение длительного периода, а затем возврат с краткими замечаниями, для оставления которых требовался в лучшем случае просто беглый просмотр. Его понимание европейской (не только российской) философской мысли было очень глубоким; он мог изложить основные положения немецкого идеализма и его влияние на политическую культуру центральной и восточной Европы в такой простой и доступной форме, что это становилось понятным студентам, и в то же время могло служить пояснением для академических специалистов. Его книга об Александре Герцене была многими признана выдающейся монографией по российской истории этой эпохи<sup>6</sup>. Многие считали его лучшим лектором в университете Калифорнии — учреждении, в котором также преподавали такие сильные ученые и педагоги, как Карл Шорске, Джозеф Левинсон, Франц Шурман и Кеннет Стамп.

Мои отношения с Малиа не были сугубо профессиональными. Мы стали политическими противниками или, по крайней мере, оппонентами. Фоном для этого служил Беркли 1960-х годов — время студенческого движения “Free Speech”, а также движений против войны во Вьетнаме. Я активно участвовал в обоих. Малиа восхищался университетской политической жизнью и с удовольствием пользовался каждой возможностью, чтобы

обсудить ее со мной или другим готовым к этому собеседником. На самом деле, мы провели гораздо больше времени, обсуждая движение “Free Speech” и американскую политику, чем обсуждая русскую историю; хотя все это рассматривалось через призму русской революции.

Малиа любил навешивать ярлыки и критиковать студентов-«леваков». Марио Савио, относительно умеренный лидер движения “Free Speech”, был у него правым эсером; Малиа называл его Керенским или иногда Черновым<sup>7</sup>. Джерри Рубин, в зависимости от контекста, был Берией или Ежовым<sup>8</sup>. Мой хороший друг Джеймс Маркис был несправедливо назван Кагановичем<sup>9</sup>. Я обычно был Мартовым или, когда Малиа по-настоящему раздражался моей воинственностью, Троцким<sup>10</sup>. Малиа предупреждал, что люди вроде меня будут расстреляны первыми, если «ваши местные большевики» придут к власти. Я убеждал его, что не будет никакого повторения бонапартистской контрреволюции подобной той, которая случилась при Сталине. Он возражал, что основная проблема находится внутри самого марксизма-ленинизма и в его претензии на непогрешимость. Перефразируя слова святого Августина, он добавлял, что «попытка создать рай на земле весьма вероятно приведет к обратному результату».

Как и Михаил Карпович, его учитель в Гарварде и основоположник изучения русской истории в Северной Америке, Малиа утверждал, что Октябрьская революция не была ни неизбежна, ни необходима, и все, что случилось потом, было логическим продолжением тоталитарных методов, проявившихся при захвате большевиками власти. Его две последующие книги о советской трагедии и о западном восприятии России были посвящены критике ревизионистской историографии, которая доминировала в советологии начиная со второй половины 1960-х годов, и реабилитации более ранней тоталитарной теории, выдвинутой его учителем<sup>11</sup>.

### Москва, 1968–1969

В рамках подготовки моей диссертационной работы я и моя жена Линда присоединились к небольшой группе аспирантов и младшего преподавательского состава, собранной для реализации программы американо-советского академического обмена<sup>12</sup>. Подавая документы, я сомневался, рассказать ли об этом дедушке, боясь, что он будет против по идеологическим соображениям или по соображениям безопасности. К моему удивлению, он отнесся к моей поездке с большим энтузиазмом и просил меня по возможности связаться с его родственниками в Москве и Ленинграде, которых он не видел почти 50 лет. К сожалению, он умер вскоре после нашего отъезда в СССР.

Наша группа была разделена на две части: большая часть (в которую входили и мы) поехала в МГУ, а меньшая — в ЛГУ. Мы приехали в Россию 15 августа 1968 г. Если бы мы при-



ехали позже хотя бы на неделю, то нас бы не пустили в страну, потому что граница закрылась накануне вторжения войск стран Организации Варшавского Договора в Чехословакию 21 августа.

Каждому из нас, иностранцев, был назначен научный руководитель. Мне очень повезло, что меня определили стажером к выдающемуся историку России второй половины XIX в. Петру Андреевичу Зайончковскому. Это была очень яркая личность. Он говорил так быстро, что даже коренные москвичи не всегда его понимали. Во время нашей первой встречи он задал мне несколько личных вопросов, что на Западе показалось бы неуместным. Поскольку я говорил на русском языке практически как на родном, он хотел узнать о моей семейной истории и о моем этническом происхождении. Как так случилось, что у меня португальская фамилия? Кто был моим учителем в Университете Калифорнии? Знаю ли я кого-либо из американцев, которые были под его научным руководством до меня? В конце нашей первой встречи он сказал мне: чтобы удовлетворить требования некоторых чиновников, нужно изменить тему моего исследования и более явно обозначить социальный аспект. Он сформулировал тему так: «Н. Г. Чернышевский и освобождение российского крестьянства»<sup>13</sup>.

Петр Андреевич представил меня нескольким своим бывшим ученикам, в том числе и тем, которые занимали разные должности в Ленинской Библиотеке и Центральном Государственном Архиве Октябрьской Революции (ЦГАОР), а также своему действующему аспиранту Леониду Васильевичу Беловинскому. Леонид и я вскоре стали друзьями на всю жизнь. Ни Зайончковский, ни Леонид не были типичными советскими гражданами, и при этом они сильно отличались друг от друга. Зайончковский был из дворянской московской семьи и гордился своим знакомством с дореволюционной русской интеллигенцией, в то время как Леонид происходил из крестьянской семьи мелких землевладельцев (обычно называемых кулаками) с Урала, но в тоже время его социальное происхождение никак не ограничивало работу его мысли.

Петр Андреевич установил порядок, при котором Леонид и я приходили каждую неделю к нему домой (не в университет, как это было вообще-то принято, особенно когда речь шла об иностранцах) — якобы для отчетов о ходе наших исследований, но на самом деле также и для того, чтобы поболтать и выслушать его размышления. Когда он говорил о чем-то особо тайном («между нами»), он вытаскивал телефонный шнур из стены и заговорщицки шептал. Это было действительно нечто особенное — он приглашал нас жестом пойти за ним на улицу, даже в самую холодную зимнюю погоду, и продолжал разговор, пока мы шли во-круг многоэтажного здания, в котором находилась его квартира.

После нескольких месяцев совместной работы П. А. Зайончковский и Леонид стали более открыто выражать свою точку зрения в моем присутствии и подстрекали меня к тому же. Поначалу мой наивный западный марксизм их веселил, потом озадачил

и, наконец, стал раздражать. Со своей стороны, я был удивлен тому, как контрастировали их взгляды со взглядами моей двоюродной бабушки Клары Захаровны, вдовы Сени (1899–1965), младшего брата дедушки Миши. Тетя Клара, с по-военному короткими волосами, крашенными хной, с блестящими черными глазами, была образцом советского патриота. На стенах ее двухкомнатной квартиры в старой Москве, в которой она жила вместе с мужем и служанкой Катей, висели портреты Сталина. Клара была убеждена, что обычные граждане СССР жили гораздо лучше, чем любой представитель капиталистического мира (за исключением богачей). Таким образом, мне пришлось выбирать — или сидеть молча, или потерять доступ к ее субботним ужинам со всеми их прелестями. Ужины готовила пожилая Катя, которая была при ней домработницей уже более двадцати лет. Выбор не был сложным, поскольку я нашел себе оправдание — ведь и тетя Клара тоже была непоследовательной, в советское время держа при себе служанку, которая освобождала ее от домашней работы.

Вопреки своим убеждениям, Клара очень интересовалась жизнью на Западе и бесконечно задавала вопросы о наших условиях жизни, о том, что и в каком количестве мы едим, как мы одеваемся, и вообще обо всех деталях нашего быта. Я старался отвечать честно, но иногда преуменьшал размер наших средств, ведь мы жили лучше, чем она, не говоря уже о Кате или о миллионах сельских жителей, живших в нищете. Было ясно, что она мне не верила, даже когда я показывал ей фотографии своего скромно обставленного (по нашим меркам) студенческого жилища в Беркли. А фотография моего 13-летнего красного автомобиля Шевроле 1955 года выпуска окончательно убедила ее в том, что я вру. Чтобы кто-то, будучи аспирантом и выживая на стипендию, мог позволить себе собственный автомобиль, — это было слишком неправдоподобно и наверняка являлось выдумкой империалистической пропаганды. Мне кажется, что тетя Клара сохранила со мной нормальные отношения только благодаря нашим родственным связям и в память о своем любимом муже. Тем не менее, она дала мне понять, что мое буржуазное историческое образование ее не впечатляет, и что я могу оставить свои «антисоветские выдумки» при себе.

В конце 1960-х очень немногие иностранцы, особенно из капиталистических стран, имели возможность находиться в СССР хоть сколько-нибудь длительный период времени. Более того, большинство из них были или дипломатами, или журналистами. Обе эти категории проводили большую часть времени в «гетто для иностранцев», имели доступ к специальным магазинам и услугам и редко пересекались с обычными русскими. Поэтому мы, приехавшая по академическому обмену молодежь, имели практически уникальный доступ к советскому обществу. Вдобавок к этому, будучи предметом любопытства для местных жителей, мы пользовались статусом своего рода знаменитостей и встречались с людьми, с которыми иначе нам было бы никак не встретиться. Для меня памятным событием была

встреча с Надеждой Мандельштам, вдовой Осипа, великого русского поэта-акмеиста<sup>14</sup>, в доме наших общих знакомых. Я тогда еще курил, и Надежда несколько раз в течение вечера просила у меня сигареты. Я обрадовался, когда она пригласила меня к себе, хотя подозревал, что это в большей степени из-за моих Марльборо, чем ради моей компании. Ее однокомнатная квартира находилась в типичном тусклом и пахнущим плесенью доме без лифта и была практически полностью лишена мебели, зато забита книгами, журналами и коробками. Она приняла меня в своей гардеробной, предложила тепловатого кофе, который сама пила, и присела на изношенный диван. В течение последующих трех часов она читала наизусть длинные пассажи из произведений ее мужа, изредка останавливаясь лишь для того, чтобы объяснить скрытый смысл в каком-то конкретном месте. Это было удивительное зрелище.

Другой случай, также связанный с курением, приключился со мной примерно в то же самое время. На Рождество 1968 г. все американцы, находившиеся в Москве, были приглашены на праздничный ужин в посольство. Перед тем как пойти на ужин, я решил сходить в архив. Несмотря на то, что этот день не являлся в России выходным, первый читальный зал ЦГАОР был совершенно пустым, когда я туда пришел. Там находилась только молодая дежурная, которая выдает материалы посетителям. Примерно через час пришел знаменитый историк Леопольд Хэймсон, один из немногих западных ученых, которого советские власти ценили и хорошо принимали. Во рту у него была фирменная сигара, незажженная, но большой комок пепла свисал с ее края. Дежурная ничего не сказала и принесла ему материалы на его стол. Когда он начал листать документы, частички пепла стали падать прямо на бумагу. Дежурная по-прежнему ничего не говорила. Молчание было, наконец, нарушено с приходом старшего архивиста, который поприветствовал Леопольда Семеновича с почтительной и любезной улыбкой и высказал восхищение его усердием, ведь он пришел в выходной для западного человека день. Прежде чем Хэймсон успел ответить, черт дернул меня вставить: «Да, сегодня работают только евреи и коммунисты». Но почему-то это показалось смешным только мне.

Остаток 1968–1969 учебного года прошел быстро и без каких-либо серьезных происшествий. Хотя несерьезных было сразу несколько. К счастью, требовавшая много времени научная работа уберегла меня от неприятностей. Пять или иногда шесть дней в неделю я вставал рано (привычка, которую я сохранил на всю жизнь), быстро завтракал, ехал на метро, как правило, в Ленинскую библиотеку, реже в архив, частенько вместе со своими товарищами-стажерами — Ларри Лангером и Хью Рэгсдейлом. Величественное старое здание бывшей Румянцевской библиотеки было разделено на несколько читальных залов (по статусу допускавшихся в них читателей), и читальный зал № 1 предназначался для членов Академии Наук, докторов наук, профессоров, а также для скромных студентов вроде меня, приехавших по обмену из капиталистических западных стран.

Я всегда любил библиотеки, и Ленинская библиотека — моя самая любимая. Дело не только в том, что там, среди старых книг и массивных деревянных столов, просто приятно находиться, но и в том, что некоторые пожилые посетители, сидевшие рядом со мной, были светилами советской науки. Я мог увидеть академиков Милицу Васильевну Нечкину и Александра Александровича Зимина, имена которых раньше встречал лишь в книгах. Однажды, ближе к концу дня, я заметил старика, сидевшего в левом дальнем углу огромного читального зала, рядом с газетной полкой. Вместе с ним сидела гораздо более высокая женщина среднего возраста, которой он что-то вполголоса диктовал. Его лицо мне показалось знакомым, но я не смог сразу его вспомнить, поэтому я подошел к дежурному библиотекаря и спросил, кто это. С некоторой снисходительностью она ответила, что это Вячеслав Михайлович Молотов (1890–1986), бывший при Сталине долгое время министром иностранных дел и главным его помощником. Потом еще несколько раз товарищ Молотов, всегда безупречно одетый, в костюме и галстуке, и его телохранитель/секретарша занимали тот же самый стол в дальней части читального зала. Перед его приходом я садился неподалеку, и практически с полной уверенностью могу сказать, что он как минимум однажды кивнул мне головой.

Моя внеучебная деятельность в Москве по западным меркам была скромной. Я посетил основные достопримечательности и музеи, временами излишне много общался с товарищами по МГУ (как русскими, так и иностранцами), регулярно посещал своих родственников и знакомился с городом. Моим главным внеучебным занятием был поиск книг в букинистических магазинах, где я быстро установил взаимовыгодные отношения с сотрудниками, и они откладывали книги, которые могли меня заинтересовать. Конечно, я не оставался в долгу и делал им небольшие денежные подарки. Я понял, что такого рода отношения, обычно называемые в России «блатом», были в порядке вещей, а зачастую и вовсе единственным способом быстро решить вопрос. В России личные контакты являлись основой всего, и зачастую были способом преодоления бесчисленного количества мешавших делу препятствий, от самых простых до самых сложных. Более того, любым делом приходилось заниматься вдвое дольше, чем на Западе. Поэтому всегда приходилось брать с собой книгу, чтобы почитать, попав в неминуемую очередь.

Я все-таки умудрился найти неприятности, но власти не всегда надлежащим образом их фиксировали. Неполный список моих проступков включал: переход через Красную площадь в неположенном месте (я все же вырос в Нью-Йорке); посещение китайского посольства (праздное любопытство в сочетании с желанием найти хороший китайский ресторан и просто откровенно «эпатировать пролетариат»<sup>15</sup>); вовлечение в религиозную пропаганду (я посетил синагогу в день еврейской Пасхи); знакомство с «нелегальными торговцами и криминальными элементами» (частными продавцами книг и предметов искусства); тайные встречи с нежелательными элементами (случайными знакомыми, которые не хотели

приглашать иностранца домой и предпочитали встречаться на станциях метро, предварительно несколько раз свернув, чтобы уйти от слежки); нарушение правил передвижения, обязательных для иностранцев, и приближение к охраняемым объектам (откуда я должен был узнать, что Химки, окраина Москвы, где жил Леонид, находились за пределами разрешенной зоны и рядом с военным учреждением?); и «распространение ложных слухов» как о Западе, так и о советской действительности (исключительно в ходе выражения собственного мнения).

За время моей первой поездки в СССР в 1968–1969 гг. большая часть моего первоначального идеализма и оптимизма относительно возможности построения нового коммунистического будущего рассеялась. Более того, все больше просыпался цинизм, даже среди тех, кто был лоялен режиму. Брежневские годы (1964–1982) останутся в памяти как «период застоя», но они также были эпохой расцвета анекдотов, в которых зачастую делались весьма очевидные политические намеки. В этих анекдотах не было пощады ни официальным героям (Чапаеву, Брежневу, даже Ленину), ни священным партийным постулатам («народ и партия едины»). Иногда они высмеивали выходцев с Кавказа и инородцев Сибири<sup>16</sup>. Среди самых популярных были анекдоты про армянское радио. В одном из таких анекдотов задавался вопрос — является ли коммунизм наукой или искусством? Армянское радио отвечало, что это наука, поскольку эксперименты в первую очередь ставились над животными, а не над людьми. При Сталине за такое бы арестовали.

За исключением известной группы инакомыслящей интеллигенции, большинство населения были твердыми патриотами и были убеждены в превосходстве своей социальной системы; и нельзя сказать, что они совсем ошибались. Советские граждане могли рассчитывать, что государство удовлетворит их основные насущные потребности, а также предоставит им главные общественные услуги — практически универсальное образование, субсидии на простейшее жилье, медицину, общественный транспорт и пищу. Кроме того, общий культурный уровень был гораздо выше, чем на Западе. Меня постоянно удивляли люди, читавшие русскую классику или мировую литературу в набитых вагонах метро, а также концертные залы, заполненные людьми разных возрастов, восторженно слушавших музыку Баха или Моцарта.

После возвращения в Беркли летом 1969 г. чаще всего меня спрашивали: в чем особенность России? Помимо таких очевидных вещей, как специфика политической системы и необходимость ежедневного выживания, четко вырисовывалась и еще одна особенность — особый характер социального взаимодействия. Единственное, что я могу сказать, — там я чувствовал себя ближе к окружающим людям, чем где-либо еще. Другие представители Запада тоже отмечали особенную глубину и интенсивность этих связей<sup>17</sup>. Я подозреваю, что все дело в контрасте между, с одной стороны, атомизированным, индивидуалистическим Западом, а, с другой, российским опытом коллективизма, состоящим из

крепостного права, крестьянской общины, православия и соборности, а также коммунизма и партийности.

### **Миддлбери и Далхаузи, 1970–1980**

Получив степень Ph. D. в 1970 г., я получил приглашение в Миддлбери Колледж в Вермонте. Но для меня это оказалось не самым лучшим местом. Профессорско-преподавательский состав в Миддлбери состоял из выпускников лучших вузов США, но никто из них не хотел помочь новичку. Они сконцентрировались на преподавании собственных курсов. К счастью, студенты были более снисходительны к моим недостаткам, несмотря на то, что мне поначалу было очень трудно. Все лето я готовился к чтению лекций, в итоге подготовил 12 или 13, и на первое занятие взял с собой их все на всякий случай. Волнуясь и быстро пробегая по подготовленному тексту, я прочел первые три лекции за 45 минут, и это была лишь середина пары. В конце занятия все медленно вышли из аудитории, и многие больше никогда не приходили. Зато те, кто остался, были ко мне снисходительны и очень помогали замечаниями. Их суть сводилась к тому, что нужно смотреть на аудиторию, а не в свои записи. С тех пор я старался следовать этому совету.

Тем не менее, мои дни в Миддлбери Колледже были сочтены. Я был удивлен, что меня уволили только в конце 1973–1974 учебного года, а не раньше. Мне опять повезло, и меня почти сразу пригласили в Университет Далхаузи. Летом 1974 г. Линда, я, две наши дочери (4-летняя Эрика и 2-летняя Джессика) и слепой пудель по имени Джошуа переехали в Галифакс. Если бы я приехал в Галифакс сразу после Нью-Йорка или Беркли, возможно, я бы не очень обрадовался. Но после жизни в деревне под названием Вермонт и работы в маленьком колледже, в Галифаксе и в университете я почувствовал себя как дома, и вздохнул с облегчением.

Мне особенно повезло, что я попал в Университет Далхаузи в момент его стремительного роста, когда можно было явственно чувствовать воодушевление окружающих. Меня сразу назначили в приемную комиссию, которая занималась поиском сотрудника для маленькой Русской кафедры. Мы провели собеседования с несколькими кандидатами и остановились на кандидатуре Юрия Глазова — диссидента, недавнего эмигранта из СССР, которого я впервые встретил в летней школе Миддлбери в предыдущем учебном году. Это сразу стало для меня проблемой. Дело в том, что хоть я и не был апологетом советской системы образования в прямом смысле этого слова, но я видел некоторые ее достоинства. Однако Юрий ожидаемо негативно отнесся к моему предложению организовать программу стажировок наших студентов в России, в Пушкинском институте в Москве. Я же утверждал, что ничто не сможет заменить тот опыт, который студент получит, проживая и обучаясь непосредственно в России. И я смог убедить ректора Генри Хикса выделить сумму для запуска проекта.

В течение первых трех лет своего существования, 1976, 1977, 1978 гг., в программе приняли участие несколько очень сильных студентов из Дэлхаузи и других канадских университетов, причем многие из них прослушали осенний семестровый подготовительный курс в Галифаксе. На осенний семестр 1978 г. я смог организовать приезд из ЛГУ Виктора Маслова, который дополнил бы наш преподавательский состав. Это было полезным опытом для наших студентов, ведь его политические убеждения разительно отличались от убеждений профессора Глазова.

В то время как Маслов работал в Далхаузи, в малоизвестной советской газете «Голос родины» вышла клеветническая статья обо мне<sup>18</sup>. Вряд ли я когда-либо узнаю, является ли это простым совпадением или чем-нибудь еще. В этой длинной статье, которая сопровождалась не соответствовавшей действительности, но польстившей мне карикатурой, где я был изображен с большим количеством волос на голове, говорилось о моем плохом поведении в СССР и о том, что я являюсь агентом ЦРУ и/или сионизма. Ее появление, вероятно, было вызвано моим участием в конференции по правам человека, которую Юрий Глазов организовал в Далхаузи за два года до этого, и которая была посвящена инакомыслию и репрессиям в СССР. В любом случае, статья, без сомнения, была предупреждением для меня и для других о том, что нужно следить за собой во время визитов в СССР.

В свете этой нападки советской прессы, руководство Далхаузи, а также канадские власти посоветовали мне не высовываться и ни при каких условиях не возвращаться в СССР, даже в том маловероятном случае, если мне вдруг дадут советскую визу. Единственным человеком, кто предложил мне иной вариант, был Майк Макгуайр с кафедры политологии, офицер разведки в отставке, работавший в британском посольстве в Москве во время Второй мировой войны. Он посоветовал мне написать подробный ответ на эти обвинения и отправить его в канадское Министерство иностранных дел, редактору «Голоса родины» и декану факультета искусств и социальных наук.

Я прислушался к совету Майка, подробно ответив на каждое выдвинутое обвинение, признав свои нарушения, но при этом указав на многочисленные ошибки, преувеличения и искажения, допущенные автором статьи. Самое обидно было то, что никто и никогда не пытался меня завербовать, даже во время работы в Миддлбери Колледже, где, как известно, ЦРУ действовало весьма активно. Мне очень хотелось поехать в СССР с ближайшей же группой студентов, чтобы очистить свое имя. Я надеялся и верил, что советские власти ничего мне не сделают, ведь как раз мое нежелание приезжать можно было бы интерпретировать как признание мной справедливости обвинений.

Юрий и я воспринимали Советский Союз совершенно по-разному. Один из симпатизировавших Юрию студентов, который в 1979 г. готовился отправиться на стажировку в Москву, предложил провезти контрабандой экземпляры Библии на русском языке и убедил нескольких человек поучаствовать в этом. Меня в известность не поставили, поскольку было ясно,

что я этого не одобрю. Когда мы прилетели в аэропорт Шереметьево и встали в очередь на прохождение таможни, я, как обычно, встал позади всех. Вдруг я услышал громкий и возбужденный разговор впереди и увидел, что у некоторых студентов открыты сумки, а в каждой из них — несколько книг, одинаково завернутых в зеленые пластиковые пакеты.

В итоге прохождение таможни затянулось на лишние полтора часа, и закончилось лишь, когда я лично получил обвинение в контрабанде литературы и подписал акт о конфискации. Но история на этом не закончилась. Через день или два я решил повести всех в Ленинскую библиотеку на ознакомительную экскурсию. Экскурсия не должна была быть очень долгой, поскольку после перелета мы еще не адаптировались и хотели спать. Когда после экскурсии мы собрались для прохождения двухуровневого досмотра на выходе, одна из студенток подошла ко мне и прошептала на ухо, что у нее в сумочке лежит еще один экземпляр Библии, которую она забыла выложить и которую она каким-то образом умудрилась пронести через досмотр на входе в библиотеку. Первой моей мыслью было просто оставить книгу на полке. Но ее бы быстро нашли, сообщили властям, а те бы немедленно соотнесли все это с историей в аэропорту, случившейся буквально накануне. Поэтому единственным способом избавиться от этой улики, который пришел мне в голову, было вырвать страницы и спустить их в туалет, который находился в большой курительной комнате.

Это было еще до начала антитабачных кампаний на Западе, а уж в Москве, казалось, курил практически каждый. Курилка располагалась рядом с туалетом и недалеко от столовой. В облаке дыма, который был таким густым и едим, что слезились глаза, мы по очереди носили кусочки разорванных страниц в мужской и женский туалеты, пока, наконец, не выполнили эту святотатственную миссию. Я оставил явно выдававший нас зеленый пластиковый пакет рядом с одной из мусорок в темном углу, и мы осторожно вышли из библиотеки. Я убедился, что уборщица забрала зеленый мешок и кинула его к остальному мусору.

Несмотря на такое неблагоприятное начало, я был решительно настроен встретиться с редакторами «Голоса родины». Спокойствие для меня не характерно, поэтому пришлось проявить чудеса самоконтроля, чтобы подождать неделю, и лишь потом приступить к своей миссии. Я объявил в Пушкинском институте (его связь с КГБ была секретом полишинеля), что собираюсь сходить в редакцию «Голоса родины». Когда я вошел в ничем не примечательное здание, в котором располагалась редакция, и спросил, можно ли увидеть редактора, секретарша как будто ничуть не удивилась встрече со мной. Она быстро ответила, что, к сожалению, никто не может сейчас со мной поговорить. Я сказал ей, что я приехал издалека, и буду ждать до тех пор, пока она кого-нибудь не найдет.

Через час, который казался мне нескончаемым, появился полный человек среднего возраста и представился как заместитель редактора. Когда я спросил, получили ли они мое письмо, он внимательно просмотрел огромную папку и ответил, что получили. Тогда я попросил, чтобы мое письмо было опубликовано вместе с извинением. Он ответил, что у него



нет на это полномочий, и что в любом случае автор статьи не является их штатным сотрудником. Я спросил, как имя автора, и он ответил, что его зовут Павлов (русский эквивалент Смита или Джонса), без имени и отчества. На этом наша беседа закончилась.

Эта «пиррова победа», как мои русские друзья называли ее, впоследствии стала источником многочисленных издевок. Леонид с притворным негодованием заметил, что этот «Павлов» был не до конца точен в своей статье, когда указывал в качестве главного доказательства того, что я якобы развращаю советскую молодежь, мое общение с «девушками легкого поведения». Мой друг сказал, что любой, кто меня знает, «немедленно бы понял, что это вранье, поскольку тебе нравятся только девушки тяжелого поведения». На самом деле, статья была небрежным набором беспорядочных слухов, полуправды, искажений и непроверенных сведений, причем некоторые из них были мне весьма интересны. Например, там были некоторые важные детали биографии моего дедушки со стороны отца. Однако очевидная недобросовестность автора мешала понять, можно ли было верить хоть чему-нибудь в этой статье. В качестве примера грубой ошибки можно указать на тот факт, что Павлов перепутал вторую жену моего отца, Галину Чекалину, с моей матерью.

### **«Холодная война» и крах, 1980–1991**

Вернувшись в Канаду, я был твердо настроен сохранить нашу программу обмена с СССР, несмотря на мои недавние неприятности и на новый виток «холодной войны», начавшийся после советского вторжения в Афганистан. Я считал главной задачей сохранить каналы академического обмена открытыми. Когда ослабевший тщеславный Леонид Брежнев (как остроумно говорили в Москве, «Ильич, который по-прежнему, более или менее, идет вместе с нами» — обыгрывалось одинаковое отчество Брежнева и Ленина), в конце концов, умер в 1982 г., пошли разговоры, что для СССР начинается новая эпоха. Но затем еще три года прошли под руководством Юрия Андропова и Константина Черненко.

Большие и, как оказалось, роковые изменения начались с приходом к власти М. С. Горбачева в 1985 г. После короткого начального периода нерешительности и неопределенности, с 1987 г. он полностью порвал со сталинистским прошлым и предпринял шаги в направлении вестернизации, либерализации и реформ. Я не буду здесь воспроизводить противоречивую историю его правления и его неожиданного ухода<sup>19</sup>. Вместо этого я ограничусь наблюдением: в горбачевском правлении главное не то, что он сделал, а то, чего он смог избежать. Я думаю, что можно верить его словам о том, что первоначально он намеревался вернуть доброе имя марксизма-ленинизма и подтвердить «социалистический выбор», сделанный в октябре 1917 г. Как и многие другие шестидесятники (реформаторски настроенные мужчины и женщины 1960-х годов), он пришел к выводу, что «мы не можем так жить дальше». К сожалению для него, процесс был неуправляем, в очередной раз подтверж-

дая справедливость фразы Алексиса де Токвиля о том, что самое опасное время для плохого правительства наступает тогда, когда оно пытается реформировать само себя. Беспочвенное обвинение в том, что Горбачев сознательно работал на развал СССР, опровергается всем тем, что мы знаем о нем и его жизни. Тем не менее, многие из его соотечественников, возможно, никогда не простят ему того, что он позволил этому случиться.

Внезапный крах Советского Союза застал большинство западных наблюдателей, включая и меня, врасплох. Многие сделали себе имя, уверенно утверждая, что «советский проект» жизнеспособен и долговечен<sup>20</sup>. Моя собственная академическая карьера с конца 1960-х годов попала под влияние «новых левых». Это повлияло на мое понимание как американской, так и русской истории, равно как и текущей международной ситуации: я считал «американский империализм» главной негативной силой. Поскольку правое крыло американских политиков я считал мерзавцами, в течение 1970-х и 1980-х годов я просто не обращал внимания на их слова о становившемся все более очевидным конце коммунизма. Более того, потеряв веру в СССР и маоистский Китай, я сохранял надежду на Кубу Фиделя Кастро.

Отвергнуть сталинизм и (после недолгих разговоров) маоизм был относительно легко. Но отвергнуть труды и доктрину Льва Троцкого и ученых вроде Исаака Дойчера, Леопольда Хэймсона и Стивена Коэна, которые, по сути, продолжали линию Троцкого, это совсем другое дело<sup>21</sup>. Их интерпретация представляла Ленина и Октябрьскую революцию в положительном свете, а Сталин считался ренегатом и узурпатором, который извратил и исказил первоначальную программу большевиков. Но постепенно и против собственного желания я пришел к выводу, что мой дедушка Миша, Михаил Карпович и Мартин Малиа в своих негативных оценках трагической и роковой роли Ленина были ближе к правде.

Это не значит, что я согласен со взглядом Александра Солженицына на марксизм-большевизм как чуждый русской душе (даже предположив, что мы способны дать определение этому сложному понятию). Я считаю, что большевизм имеет корни в предшествующем политическом и культурном развитии России. Ленинская форма большевизма была своеобразной, но она не была неизбежной, она была результатом исторического стечения обстоятельств в сочетании с выдающейся личностью конкретного человека. Ленинизм стремился перестроить человеческую душу, не считаясь с человеческими или экономическими ресурсами. Одновременно трагично и иронично, категорически отвергая веру и делая ставку на политическую сознательность, Ленин и его последователи создали собственную «светскую религию», которая имеет собственное иерархически выстроенное «духовенство», свои «таинства» и монопольное право на правду.

Я все с большим скептицизмом отношусь к мнению, перефразируя поэта Федора Тютчева, что рациональное понимание России невозможно<sup>22</sup>. Мне это кажется похожим по логике, а может и по содержанию, на коммунистический постулат, что якобы существует две науки — буржуазная и ее более совершенный пролетарский вариант, как будто бы законы фи-

зики не действовали за пределами советской территории. Я также считаю малоубедительной евразийскую концепцию, согласно которой Россия не является Европой. Безусловно, большая часть страны лежит к востоку от Урала, но сознание и культура общества всегда были устремлены на Запад, что становится очевидным (с некоторыми известными исключениями)<sup>23</sup> при разговоре с любым грамотным русским, начиная с XVIII в. и включая Владимира Путина!

*Перевод Н. И. Богомазова*

<sup>1</sup> Выражаю благодарность Элизабет Хейг (Elizabeth Haigh), Кэрол Паттерсон (Carol Patterson) и Марии Кувтенок за критическое прочтение первых черновиков этого очерка, а также Дмитрию Равинскому за его помощь.

<sup>2</sup> «Coolie food» — унижительный термин, который проживавшие в Китае представители Запада использовали для обозначения той пищи, которой питалась их прислуга. Ее можно было легко купить у уличных торговцев и, на мой взгляд, она была намного вкуснее европейской пищи.

<sup>3</sup> Bakich O. Harbin Russian imprints: bibliography as history, 1898-1961: materials for a definitive bibliography. New York, 2002.

<sup>4</sup> Автор использует аббревиатуру “WASP” — «белые англо-саксы протестанты», которым в Америке в середине XX в. обозначались представители привилегированных и зажиточных слоев населения [примеч. переводчика].

<sup>5</sup> Насколько я могу судить, термин «холодная война» был впервые использован Джорджем Оруэллом в октябре 1945 г. в его очерке в “Tribune”, который назывался «Ты и атомная бомба».

<sup>6</sup> Malia M. E. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism. Cambridge, Mass., 1961.

<sup>7</sup> Настоящий А. Ф. Керенский (1881–1970) был тогда еще жив, жил недалеко — в Пало Альто, — и не обрадовался бы такому сравнению. Он часто выступал на общественных собраниях и не уставал вспоминать события 1917 г., тщетно пытаясь оправдать свою роль в истории. В. М. Чернов (1873–1952) был лидером партии социалистов-революционеров и председателем недолго просуществовавшего Учредительного Собрания в 1918 г.

<sup>8</sup> Л. П. Берия (1899–1953) был печально известным руководителем НКВД при И. В. Сталине. Н. И. Ежов (1895–1940), предшественник Берии, руководил кровавыми чистками в конце 1930-х.

<sup>9</sup> Л. М. Каганович (1893–1991) был у Сталина главным специалистом по выполнению грязной работы. Редкий случай, когда приближенный Сталина выжил и спокойно умер в относительной неизвестности.

<sup>10</sup> Ю. О. Мартов (1893–1923) был лидером левого крыла партии меньшевиков и одним из немногих оппонентов В. И. Ленина, которых тот уважал.

<sup>11</sup> Более полное исследование этого вопроса см. в моей статье: *Pereira N. G. O. Revisiting the Revisionists and their Critics // The Historian*. 2010. N 1. P. 23–37. — Две книги Малиа, о которых идет речь: *Malia M. E. 1) The Soviet Tragedy: a History of Socialism in Russia, 1917-1991*. New York, 1994; 2) *Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum*. Cambridge, Mass., 1999. — Классическое определение тоталитаризма см.: *Arendt H. The Origins of Totalitarianism*. New York, 2004; *Brzezinski Z. The Permanent Purge: Politics in Soviet Totalitarianism*. Cambridge, Mass., 1956.

<sup>12</sup> Межуниверситетский Комитет по выдаче грантов на поездки (IUCTG), непосредственный предшественник Совета по международным исследованиям и обменам (IREX), ведал академическим обменом между США и СССР. 1968–1969 учебный год был последним годом работы IUCTG.

<sup>13</sup> Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889) был основателем российского популизма или крестьянского социализма и оказал серьезное влияние на Ленина. Учитывая мои тогдашние убеждения, Чернышевский казался очевидной темой для моей диссертации. Кроме того, тогда не было ни одной монографии о нем на английском языке. Моя исправленная и дополненная диссертация: *Pereira N. G. O. The Thought and Teachings of N. G. Chernysevskij. The Hague, 1975.*

<sup>14</sup> Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938). Увлекательные мемуары Надежды опубликованы на английском языке, в двух томах: *Mandelstam N. 1) Hope Against Hope: A Memoir. New York, 1970; 2) Hope Abandoned. New York, 1974.*

<sup>15</sup> В оригинале автор использует французское выражение — “*épater le proletariat*”, перефразируя широко известное в конце XIX в. словосочетание “*épater la bourgeoisie*” («эпатировать буржуазию») [*прим. переводчика*].

<sup>16</sup> Автор сравнивает анекдоты с “*Newfie jokes*” [*примеч. переводчика*].

<sup>17</sup> *Taubman W. The View from the Lenin Hills: Soviet Youth in Ferment. New York, 1967.*

<sup>18</sup> «Голос родины» — малотиражная ежемесячная советская газета, издаваемая КГБ; предполагалась для распространения среди советских служащих, работавших за рубежом, а также для русских эмигрантов. См.: *Павлов Л. Московские похождения г-на Перейры // Голос родины. 1978. № 24. С. 12–13.*

<sup>19</sup> Среди лучших воспоминаний об этом времени можно упомянуть мемуары А. Н. Яковлева, главного помощника М. С. Горбачева, затем бывшего в течение длительного времени послом в Канаде: *Yakovlev A. N. Striving for law in a lawless land: Memoirs of a Russian Reformer. Armonk, New York, 1996.* — А также: *Chernyaev A. S. My Six Years with Gorbachev. University Park, 2000; Matlock J. Autopsy of an Empire: The American Ambassador's Account of the Collapse of the Soviet Union. New York, 1995.*

<sup>20</sup> Работа Роберта Бирнса является типичной для направления, предсказывавшего стабильность и долгое существование СССР. См.: *Byrnes R. F. U. S. policy toward Eastern Europe and the Soviet Union: selected essays, 1956–1988. Boulder, 1989.*

<sup>21</sup> Я утверждал, что взгляд Л. Д. Троцкого на русскую революцию, ленинизм и сталинизм доминирует в англо-американской историографии так же, как он доминировал с середины до конца 1960-х годов. См.: *Pereira N. G. O. Post-Soviet North American Historiography of Russia // Canadian Slavonic Papers. 2011. N 2–3–4. June, September, December. P. 45–57.*

<sup>22</sup> «Умом Россию не понять, ... в Россию можно только верить».

<sup>23</sup> Александр Блок, сменовеховцы и профессор Георгий Вернадский — самые очевидные примеры. Но можно утверждать, что даже эти самопровозглашенные «евразийцы» были частью европейского дискурса.

---

## *Pereira N. G. O. Impressions and Remarks of Western Sovietologue: an Autobiographic Essay*

**AUTHOR:** Ph.D in History, Professor Emeritus, Dalhousie University (Halifax, Canada); [ngopereira@gmail.com](mailto:ngopereira@gmail.com)

### REFERENCES:

<sup>1</sup> *Bakich O. Harbin Russian imprints: bibliography as history, 1898-1961: materials for a definitive bibliography. New York, 2002.*

<sup>2</sup> *Malina M. E. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism. Cambridge, Mass., 1961.*

<sup>3</sup> *Pereira N. G. O. Revisiting the Revisionists and their Critics // The Historian. 2010. N 1.*

<sup>4</sup> *Malina M. E. The Soviet Tragedy: a History of Socialism in Russia, 1917-1991. New York, 1994.*

---

<sup>5</sup> *Malia M. E.* Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, Mass., 1999.

<sup>6</sup> *Arendt H.* The Origins of Totalitarianism. New York, 2004.

<sup>7</sup> *Brzezinski Z.* The Permanent Purge: Politics in Soviet Totalitarianism. Cambridge, Mass., 1956.

<sup>8</sup> *Pereira N. G. O.* The Thought and Teachings of N. G. Cernysevskij. The Hague, 1975.

<sup>9</sup> *Mandelstam N.* Hope Against Hope: A Memoir. New York, 1970.

<sup>10</sup> *Mandelstam N.* Hope Abandoned. New York, 1974.

<sup>11</sup> *Taubman W.* The View from the Lenin Hills: Soviet Youth in Ferment. New York, 1967.

<sup>12</sup> *Pavlov L.* Moskovskie pokhozhdeniia g-na Pereiry // Golos rodiny. 1978. N 24.

<sup>13</sup> *Yakovlev A. N.* Striving for law in a lawless land: Memoirs of a Russian Reformer. Armonk, New York, 1996.

<sup>14</sup> *Chernyaev A. S.* My Six Years with Gorbachev. University Park, 2000.

<sup>15</sup> *Matlock J.* Autopsy of an Empire: The American Ambassador's Account of the Collapse of the Soviet Union. New York, 1995.

<sup>16</sup> *Byrnes R. F.* U. S. policy toward Eastern Europe and the Soviet Union: selected essays, 1956–1988. Boulder, 1989.

<sup>17</sup> *Pereira N. G. O.* Post-Soviet North American Historiography of Russia // Canadian Slavonic Papers. 2011. N 2–3–4. June, September, December.